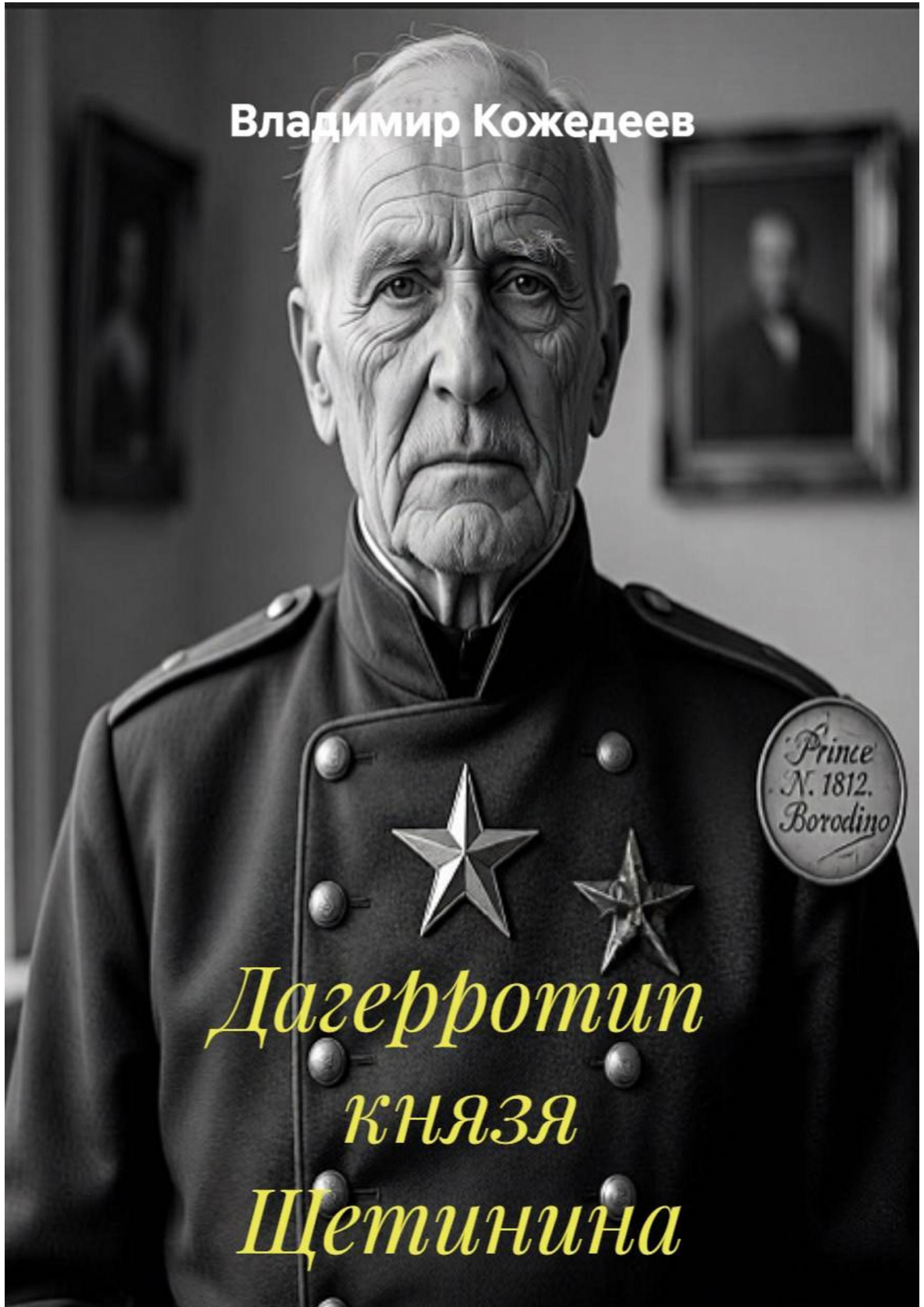

Владимир Кожедеев
Prince
N. 1812.
Borodino
Дагерротип
князя
Щетинина

Исторические детективы

Владимир Кожедеев

Дагерротип князя Щетинина

«Автор»
2026

Кожедеев В.

Дагерротип князя Щетинина / В. Кожедеев — «Автор», 2026 — (Исторические детективы)

Российская империя, 1850 год. В захолустный уездный город N. прибывает коллежский асессор Алексей Петрович Лыков, следователь по особо важным делам из Петербурга. Формальный повод — самоубийство помещика, отставного гвардейца Дмитрия Олсуфьева, и загадочная смерть его камердинера. Но местная полиция уже постановила: барин застрелился от долгов, а слугу убил в припадке безумия.Однако Лыкова смущают детали: странная предсмертная записка, окровавленный дагерротип в руке мертвеца и следы пыли на коленях убитого, не имеющие отношения к месту преступления. Вместе со своим неожиданным помощником — спившимся становым приставом Хлобуевым, в прошлом храбрым кавказским офицером, — Лыков начинает расследование.Очень скоро выясняется: тихое убийство в усадьбе связано с событиями сорокалетней давности, с Отечественной войной 1812 года и тайной рождения князя.Роман о долге и чести, о цене правды и о том, что прошлое никогда не умирает окончательно — оно ждет своего часа, чтобы напомнить о себе.

© Кожедеев В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Начало истории в городе N 5
Глава 2. Предыстория сыщика. 8
Глава 3. Игнатий Фомич без маски. 13
Глава 4. Осмотр. 19
Глава 5. Истории города N. 24
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Владимир Кожедеев
Дагерротип князя Щетинина

Глава 1. Начало истории в городе N

Окна тарантаса, видавшего виды и скрипевшего на каждой кочке, были наглухо задернуты парусиной. Майский полдень 1850 года полыхал за пределами дорожной кибитки, превращая её внутренность в подобие печи. Пахло разогретой кожей сидений, полынью, тянувшей с придорожных полей, и терпким табаком.

Коллежский асессор Алексей Петрович Лыков, следователь по особо важным делам при Санкт-Петербургской полиции, уже третьи сутки трясся по Московско-Нижегородскому тракту. Форменный сюртук был расстегнут, а светлый цилиндр лежал на соседнем сиденье, придавленный стопкой казенных бумаг. Лыков ехал в уездный город N., где, по слухам, случилось происшествие, выходящее за рамки обычной уголовщины. В Петербурге шептались, что дело «пахнет не уголовщиной, а большой политикой», и именно поэтому из министерства внутренних дел решили послать не местного заседателя, а столичного сыскаря, имевшего репутацию человека неподкупного и въедливого.

Спутником Лыкова был становой пристав из соседнего уезда, Игнатий Фомич Хлобуев. Тучный мужчина с багровым лицом и усами, пропитанными дорожной пылью, он всю дорогу жаловался на жизнь, начальство и скудость жалованья, временами прикладываясь к походной фляге с бальзамом. Лыков слушал его вполуха, перебирая в голове скупые факты.

В городе N. застрелился помещик, отставной гвардии поручик Дмитрий Гаврилович Олсуфьев. Картежный долг, разорение, тоска – самая что ни на есть обычная история для барской усадьбы. Однако предсмертная записка, по словам присланного фельдъегеря, была странной. В ней не было ни раскаяния, ни распоряжений по имению. В ней было всего три слова, написанных дрожащей рукой: «В этом виноват он». И подпись. Кто такой «он», записка не уточняла.

Но самое главное – вместе с телом помещика в кабинете нашли тело его камердинера, крепостного человека Ермилая. Тот был заколот чем-то острым, похожим на стилет, а в руке его мертвой хваткой была зажата окровавленная фотографическая пластинка. Дагерротип. На пластинке, как докладывали, был запечатлен неизвестный господин в военном мундире образца 1812 года. Местная полиция уже успела постановить, что камердинера убил сам барин перед самоубийством, а пластинка – случайность, след борьбы. Но Лыкова терзало сомнение: зачем умирающему человеку убивать слугу, да еще и вкладывать ему в руку какой-то снимок? Это не укладывалось в прокрустово ложе пьяной ссоры или внезапного помешательства.

– Ну чего вы, ваше благородие, все хмуритесь? – прогудел Хлобуев, раскуривая трубку. – Дело-то ясное. Барин – дуэлянт, картежник. Проигрался в пух. Долгов – воз и маленькая тележка. Опекуны из дворянской опеки нагрянуть должны были со дня на день. Вот и пустил себе пулю в лоб. А холопа, видать, чтобы тот не болтал лишнего про долги или про барышень, прирезал. У нас в губернии это запросто.

Лыков, не оборачиваясь, спросил:

– А фотография? Откуда у крепостного человека, в уездной дыре, дагерротип? И почему в кулаке?

– Так мало ли, – отмахнулся пристав. – Может, барскую вещицу стащить хотел. Баловались господа этой новомодной гильдией. А Ермилка, может, за этим и поплатился.

Лыков промолчал. Его аналитический ум, воспитанный на логике и фактах, отказывался принимать такие простые объяснения. Слишком много случайностей. Слишком много театральности. Смерть не терпит бутафории.

Тарантас въехал в город N. ближе к вечеру. Это был типичный уездный городишко: деревянные тротуары, куры в пыли, пожарная каланча, возвышающаяся над убогими лавчонками, и собор, неуклюже выкрашенный голубой краской. Город спал под солнцем, и лишь тени от заборов медленно удлинялись, наползая на немощеную улицу.

Остановились у единственной приличной гостиницы с вывеской «Трактир „Раздолье“ и номера для приезжающих». Хлобуев, пообещав быть утром, тут же отправился к местному знакомцу, чтобы промочить горло после дороги. Лыков же, сняв номер, первым делом умылся ледяной водой из жестяного рукомойника и велел подать самовар.

Едва он успел переодеться в свежий сюртук, как в дверь постучали.

– Войдите.

На пороге стоял человек неопределенного возраста, одетый в поношенный, но чистый сюртук. В руках он мял картуз.

– Господин Лыков? «Из Петербурга?» —спросил он тихо, оглядываясь через плечо. – Я есть хотел… сообщить. По делу Олсуфьева.

– Кто вы такой? – Лыков встал, насторожившись.

– Я мещанин здешний, аптекарский помощник, Семен Брусникин. – Он переступил с ноги на ногу. – Я тот дагерротип проявлял. Для барина. И.. это… Ермила, покойник, друг мне был. Он за день до смерти прибегал ко мне, белый как мел. И говорит: «Сема, спрячь, – говорит, – фотографию эту. Если со мной что случится, покажи кому надо. Тут, – говорит, – не просто портрет, тут наша погибель».

Лыков почувствовал знакомый холодок в груди – тот самый, что всегда предшествовал раскрытию сложного дела. Запахло не просто уездным убийством, а настоящей тайной.

– И что же на портрете? – спросил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

Брусникин испуганно оглянулся на дверь и прошептал:

– Так-то ж и штука, ваше благородие. Человек на портрете – вылитый барин, Дмитрий Гаврилович. Только старый совсем. И мундир на нем не наш, теперешний, а старый, еще александровских времен. И звезда какая-то незнакомая на груди. А на обороте, на пластинке-то, царапкой написано: «Князь Н. 1812 год. Бородино».

В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь шипением самовара. Лыков смотрел на аптекарского помощника и понимал, что все его предыдущие умозаключения рушатся, как карточный домик.

1812 год. Бородино. Князь N. И помещик Олсуфьев, как две капли воды похожий на этого старого воина.

– Где пластинка теперь? – резко спросил Лыков.

– Так в полиции, – вздохнул Брусникин. – Забрали как вещдок. Только… только она пустая.

– Как пустая? – не понял сыщик.

– А так. Проявили они, значит, а там ничего. Светлая пластина, и всё. Будто никогда на ней никого и не было. Я потому и пришел, что неладно это. Химия наша, дагерротипная, так не работает. Кто-то засветил пластину. Умышленно. Чтобы следа не осталось.

Лыков подошел к окну. За стеклом догорал закат, окрашивая пыльную улицу в багровые тона, подозрительно похожие на цвет запекшейся крови. Он понял, что это начало длинного и темного пути. Ведь если кто-то уничтожил лицо с дагерротипа, значит, он боится не просто разоблачения. Боится самого имени, которое на нем было. Имени, которое могло связать тихое самоубийство в уездной глуши с великой войной, отгремевшей почти сорок лет назад.

– Ступайте, – тихо сказал Лыков Брусникину. – И никому ни слова. Я сам пойду к следователю.

Оставшись один, он долго смотрел на догорающую свечу. В голове вертелись обрывки мыслей: князь, двойник, Бородино, крепостной с фотографией в мертвой руке. Завтра предстояло осмотреть место преступления. И Лыков знал: в барском кабинете, где пахнет порохом и сиренью из открытого окна, его ждет не просто разгадка смерти, а тайна, которую кто-то очень могущественный хотел похоронить навсегда. Вместе с Олсуфьевым и его верным камердинером.



Глава 2. Предыстория сыщика.

Алексей Петрович Лыков родился в 1815 году, в самый разгар европейского торжества над Наполеоном, в родовом имении отца – сельце Лыковка Тульской губернии. По странной прихоти судьбы, год его появления на свет совпал с годом окончательного падения Империи Бонапарта, словно сама история решила, что новому поколению предстоит разбираться с последствиями побед отцов.

Отец его, Петр Афанасьевич Лыков, отставной секунд-майор, прошедший кампании 1805–1807 годов и тяжело раненный под Прейсиш-Эйлау, принадлежал к тому разряду обедневших дворян, которые гордились древностью рода более, чем звоном монет. Род Лыковых вел свое начало от рязанских бояр, но к XIX веку от былого величия осталась лишь ветхая грамота времен царя Михаила Федоровича, хранимая в киоте рядом с образами, да фамильная гордость, передаваемая из поколения в поколение.

Мать, Наталья Ильинична, урожденная княжна Оболенская, была женщиной тихой, богомольной и болезненной. Она подарила мужу троих детей: старшую дочь Екатерину, Алексея и младшего Петра, умершего во младенчестве. Ее влияние на формирование характера сына оказалось глубоким и незаметным, как течение подземной реки: от нее он унаследовал привычку к вдумчивому молчанию, любовь к чтению житий святых и ту особую наблюдательность, которая позже станет его профессиональным инструментом.

Лыковка стояла на берегу узкой, но быстрой речушки Восьмы. Дом, сложенный из почерневшего от времени бревна, давно требовал починки, но отец, человек гордый и непрактичный, предпочитал тратить последние деньги на пополнение библиотеки и выписку столичных журналов. "Лыковы кормились не от сохи, а от ума и шпаги", – говаривал он, перелистывая "Отечественные записки" в кресле с прорванной обивкой.

Алексей рос среди разговоров о политике, истории и военных кампаниях. В гостиной, где на стенах висели портреты Суворова и Кутузова, бывали интересные люди: отставные офицеры, уездный предводитель дворянства, изредка – заезжие литераторы, сбившиеся с пути в поисках вдохновения в русской глубинке. Маленький Леша, забившись в угол с книгой, впитывал эти разговоры, запоминал жесты, интонации, невысказанные мысли. Уже тогда он замечал, что люди редко говорят то, что думают на самом деле.

Учителями его были домашние наставники – сначала дьячок соседнего погоста, обучивший грамоте, Закону Божию и арифметике, затем недоучившийся семинарист, прививший любовь к латыни и риторике, и, наконец, француз месье Дежарден, бежавший от революции 1830 года и застрявший в России. Именно от него Алексей впервые услышал о Шерлоке Холмсе – вымышленном персонаже английской литературы, который тогда еще не был известен в России, но чьи приключения, публикуемые в парижских газетах, месье Дежарден пересказывал с увлечением. "Смотри, Алексис, – говорил француз, рисуя на бумаге схемы преступлений, – главное – деталь. Маленькая деталь убивает великого злодея".

В 1832 году, семнадцати лет от роду, Алексей отправился в Петербург. Отец, продав последнюю приличную тройку, собрал сыну скромную сумму на обзаведение и отправил с наказом: "Служи, Алексей. Лыковы всегда служили. Не имением, так головой. И помни: честь дороже чина".

Путь в столицу занял две недели. Для юноши, никогда не покидавшего пределов родного уезда, Петербург стал потрясением: гранит набережных, дворцы, туманы, холодный блеск Невы и равнодушные лица прохожих. Он поступил в Императорское училище правоведения – привилегированное закрытое заведение, готовившее будущих чиновников для судебного ведомства.

Училище дало ему систематические знания: римское право, уголовное судопроизводство, философия, политическая экономия. Но главное – оно свело его с людьми, определившими его судьбу. Среди преподавателей особенно выделялся профессор уголовного права Антон Антонович фон Брадке, человек сухой, педантичный, но обладавший редким даром – видеть в студенте не зубрилу, а будущего исследователя человеческой души. Именно он заметил у Лыкова склонность не просто к запоминанию параграфов, а к анализу мотивов преступника.

– Вы, Лыков, не юрист будете, – сказал он как-то после лекции. – Вы будете сыщик. А это разные вещи. Юрист знает, как наказать. Сыщик должен понять, зачем. А понять человека – значит простить его или отправить на виселицу с полным сознанием правоты своего приговора. Это тяжелый хлеб.

Друзей в училище у Лыкова было немного. Он не участвовал в кутежах, не играл в карты, избегал шумных компаний. Ближе других сошелся с князем Владимиром Долгоруковым – молодым человеком из богатой и знатной семьи, который, однако, тяготился светской жизнью и искренне интересовался правом и историей. Эта дружба, несмотря на разницу в положении, продлится много лет и не раз сослужит Лыкову службу: связи Долгорукова, ставшего позже видным сановником, помогали пробивать бюрократические преграды.

Окончив училище в 1837 году с чином титулярного советника, Лыков поступил в Министерство юстиции. Начало было скучным: канцелярская работа, переписка, бесконечные бумаги, пахнущие пылью и сургучом. Он сидел в одном из многочисленных департаментов, разбирал дела о спорных наследствах, мелких кражах и должностных проступках губернских чиновников.

Скука эта длилась три года. Перелом наступил случайно.

В 1840 году в Петербурге произошло громкое убийство – зарезали ростовщика, старика-еврея, у которого, по слухам, хранились огромные суммы. Дело поручили опытному следователю, но тот зашел в тупик. Лыков, случайно проходивший мимо кабинета, увидел на столе вещественные доказательства – окровавленный нож и клочок бумаги с полустертыми цифрами. Бумага была измазана чем-то жирным. Профессор фон Брадке учил его обращать внимание на детали. Лыков попросил разрешения взглянуть и через час принес начальнику свои соображения: цифры на бумаге – это номера ломбардных квитанций, а жирное пятно – след пальца человека, который только что держал свежую сайку. "Убийца, – сказал он, – скорее всего, из простонародья, недавно брал хлеб у булочника рядом с ломбардом". Начальник сначала отмахнулся, но из вежливости проверил. Булочник вспомнил постоянного покупателя – подмастерье из портновской мастерской, который в тот день был неестественно весел и много пил. Убийцу взяли через сутки. Он сознался.

Этот случай изменил всё. О молодом чиновнике заговорили. Его перевели в сыскную часть столичной полиции. Началась настоящая работа.

К 1850 году Алексей Петрович Лыков был уже коллежским асессором – чин, соответствовавший VIII классу и дававший потомственное дворянство тем, кто его еще не имел (Лыков имел, но родовое, что не отменяло важности чина в табели о рангах). За плечами была дюжина раскрытых дел, от уличных грабежей до запутанных дворянских убийств на почве страсти и долгов.

Его методы работы современникам казались странными, почти чудаческими. В то время как обычный полицейский чиновник полагался на доносы, слухи и порой грубую силу, Лыков предпочитал наблюдение и логику. Он мог часами стоять на месте преступления, рассматривая расположение предметов. Он опрашивал не только господ, но и дворников, извозчиков, кухарок, лакеев – тех, кого в полиции обычно не замечали, считая частью меблировки. "Человек низкого звания, – говорил он своим помощникам, – видит то же, что и высокого, но не знает, что скрывать. Потому он часто говорит правду".

Сослуживцы относились к нему по-разному. Одни уважали за неподкупность и ум, другие побаивались, третьи считали гордецом и выскочкой. Лыков действительно держался особняком. Он не пил с товарищами, не бывал в публичных домах, редко посещал балы и театры. Жил скромно, в наемной квартире на Васильевском острове, получая жалованье в 1200 рублей серебром в год – сумма по тем временам достаточная для одинокого человека, но без излишеств.

В работе он был дотошен до педантизма. Бумаги вел аккуратно, каждую улику описывал подробно, стараясь предвидеть возможные возражения прокурора или адвоката. У него была привычка записывать свои мысли в особую тетрадь, которую он называл "Журналом наблюдений". Туда заносились не только факты, но и предположения, догадки, порывы интуиции – то, что не имело места в официальном протоколе, но часто оказывалось важнее формальных доказательств.

В личной жизни Лыкова была лишь одна история, оставившая глубокую зарубку на сердце.

В 1844 году он познакомился с Елизаветой Григорьевной Строгановой, дочерью обедневшего, но знатного дворянина. Она была красива той спокойной, внутренней красотой, которая не требует ярких нарядов и громких фраз. Они встречались около года. Лыков, обычно сдержанный, впервые позволил себе мечтать о семейном счастье. Однако свадьба не состоялась.

В 1845 году отец Елизаветы, Григорий Аркадьевич, был замешан в темной истории с подделкой векселей. Дело попало к Лыкову. Он вел расследование честно, без скидок на будущее родство. Доказательства вины старика были неопровержимы. Григорий Аркадьевич, не выдержав позора, застрелился. Елизавета, считая, что Лыков мог "не заметить" или "смягчить" улики ради любви, но предпочел долг, разорвала помолвку. Больше они не виделись.

Этот случай наложил отпечаток на весь его дальнейший характер. Он стал еще более замкнутым, еще более сосредоточенным на работе. "Чувства обманывают, – говорил он себе, – только факты никогда не лгут". С тех пор женщин в его жизни не было, если не считать старушки-экономки, приходившей дважды в неделю готовить обед.

В 1850 году он жил один. В его квартире на Среднем проспекте царил спартанский порядок: дубовый стол, заваленный бумагами, этажерка с книгами по праву и истории, диван с жесткой спинкой, на котором он спал, и несколько дагерротипов на стене: отец в мундире с протезом вместо левой руки (после ранения под Прейсиш-Эйлау он носил железный крюк, искусно скрытый под перчаткой), мать в чепце с кружевами и сестра Катя с мужем – провинциальным врачом, уехавшая в Саратов.



По утрам, если не было срочных вызовов, он пил кофе – единственная роскошь, которую себе позволял, – и просматривал газеты. "Северная пчела", "Санкт-Петербургские ведомости". Искал не политику, а хронику происшествий, заметки о преступлениях, странных смертях. Часто его догадки о связи событий, разбросанных по разным губерниям, позже подтверждались – он умел видеть систему там, где другие видели случайность.

Начальство ценило его, но не слишком жаловало. Для высокопоставленных чиновников он был "этой занозой", "ходячей совестью", которую неудобно было ни повысить, ни обойти наградой. Слишком умен, слишком независим. В Министерстве внутренних дел поговаривали, что Лыкова стоило бы перевести в провинцию, чтобы не мозолил глаза столичному начальству, но каждый раз возникало сложное дело, с которым никто, кроме него, справиться не мог. И его оставляли.

Так случилось и сейчас. Убийство в городе N. с загадочным дагерротипом и странной предсмертной запиской требовало человека, способного мыслить нестандартно. Министр внутренних дел граф Перовский, узнав о деталях дела, сказал коротко: "Пошлите Лыкова. Этот вынюхает правду даже из-под земли".

И вот теперь Алексей Петрович стоял у окна гостиничного номера, вглядываясь в сгущающиеся сумерки над уездным городом. Чутье подсказывало ему, что это не просто очередное

убийство. Что-то здесь было связано с войной, с тайнами сорокалетней давности, с людьми, которые давно должны были умереть, но чьи имена всё еще имели власть над живыми. Он зябко повел плечами, хотя в комнате было душно. "Князь N. Бородино, – повторил он про себя. – Интересно, кого ты так напугал, старый воин, что твой портрет пришлось уничтожать через столько лет?"

Ответы ждали его завтра, в остывшем кабинете помещика Олсуфьева, где на полу еще должны были сохраниться следы крови – и старой, и совсем недавней, пролитой уже в мирное время.

Когда за аптекарским помощником Брусникиным закрылась дверь, Лыков еще долго сидел неподвижно, глядя на оплывающую свечу. Мысли его текли медленно и тяжело, как смола по стволу сосны. Он думал о князе N., о Бородине, о засвеченной пластинке. Но краем сознания всё время цеплялся за своего недавнего спутника – станового пристава Игнатия Фомича Хлобуева.

Было в этом толстом, красномордом, вечно пьющем человеке что-то, что не давало покоя. Не фальшь – фальшь Лыков чуял за версту. А именно что-то другое. Какая-то несообразность, нестыковка между внешним обликом и внутренним содержанием. Хлобуев слишком старательно изображал из себя законченного провинциального дурака и пьяницу. Слишком громко жаловался на жизнь. Слишком часто прикладывался к фляге. И при этом – Лыков отметил это еще в тарантасе – глаза у него оставались трезвыми. Совершенно трезвыми. И смотрели они не тупо, а внимательно, цепко, по-хозяйски ощупывая каждую мелочь.

"Кто ты такой, Игнатий Фомич?" – подумал Лыков, задувая свечу.

Ответ на этот вопрос пришел наутро, и пришел самым неожиданным образом.

Глава 3. Игнатий Фомич без маски.

Утро в городе N. встретило Лыкова колокольным звоном и густым запахом сена, пыли и печеного хлеба, тянувшим с базарной площади. Он вышел на крыльцо гостиницы, намереваясь отправиться в полицейское управление, и нос к носу столкнулся с Хлобуевым.

Становой пристав стоял, прислонившись к забору, и сосредоточенно раскуривал короткую трубку. Вид у него был помятый: сюртук измят, на щеке след от подушки, глаза красные. От него разило перегаром так, что даже извозчичья лошадь на противоположной стороне улицы брезгливо отвернула морду.

– А, ваше благородие! – заулыбался Хлобуев, заметив сыщика. – Изволили почивать? А я вот, грешным делом, у знакомого протодьякона вчера малость засиделся. Человек он божественный, а насчет выпивки – чисто коммерции советник. Ну что, идем в управу? Я дорогу знаю.

Лыков молча кивнул и зашагал рядом. Хлобуев шел, слегка пошатываясь, но ноги ставил удивительно ровно, огибая лужи и колдобины с ловкостью человека, привыкшего ходить по этим улицам.

– Скажите, Игнатий Фомич, – негромко спросил Лыков, когда они завернули за угол, – вы давно в этой должности?

– Да уж годов пять будет, – вздохнул Хлобуев. – Как из военного ведомства поперли, так сюда и приткнулся. Место не больно хлебное, но с голоду не пухнем.

– А до того где служили?

Хлобуев покосился на Лыкова с неожиданной хитрецой.

– А что, ваше благородие, интересуетесь? Думаете, я тут просто так, пьянь уездная, при делегации приставлен? Так оно и есть. Пьянь и есть. – Он засмеялся, но смех вышел невеселым. – А служил я, коли интересно, в Кавказском корпусе. Пятнадцать лет. Под пулями горцев ходил, в разведку лазил, ранен дважды. Имею анну с мечами и бантом и орден Святого Владимира четвертой степени. Только они мне теперь, ордена эти, что мертвому припарки.

Лыков остановился и внимательно посмотрел на своего спутника. Тот стоял, сутулясь, и смотрел в землю. Пьяного вида как не бывало – перед Лыковым стоял военный, старый служака, привыкший к дисциплине и смерти.

– Что же случилось? – тихо спросил Лыков.

Хлобуев помолчал, потом махнул рукой.

– А чего теперь говорить. Дело прошлое. Был у меня друг, поручик, царство ему небесное. Вместе на Кавказе служили, вместе в разведку ходили, вместе водку пили. Он меня, можно сказать, от смерти дважды спасал. А потом… – Хлобуев сжал челюсти так, что желваки заходили под кожей. – Потом его нашли в крепости с простреленной головой. Официально – самоубийство. А я знал, что не сам он. Что свои же, из корпуса, его убрали. За то, что слишком много знал. О поставках гнилых, о воровстве интендантском. Я тогда шум поднял. Рапорт написал. В Петербург хотел ехать. А меня самого – под суд. За пьянство и неисполнение приказов. Разжаловали. Чуть под расстрел не пошел. Спасло только то, что Георгий на груди. Сослали сюда, в эту дыру, становым приставом. Чтобы не рыпался. Чтобы водкой заливал глаза и помалкивал. Я и заливаю. Десятый год заливаю. Только легче не становится.

Он достал флягу, сделал большой глоток и спрятал обратно. Лицо его стало спокойным и каким-то мертвым.

– Так что, ваше благородие, – добавил он, глядя Лыкову прямо в глаза, – вы меня не бойтесь. Я хоть и пьяница, а свое дело знаю. И людей здешних – тоже. Если хотите докопаться до правды, я помогу. Потому что правда – она одна. И я ее, может, за десять лет в первый раз учуял. В вашем деле. Тут тоже пахнет не просто убийством. Тут пахнет тем же, чем и

на Кавказе. Казенным воровством и большой кровью, которую хотят списать на несчастный случай.

Лыков смотрел на этого странного человека и понимал, что обрел неожиданного союзника. Или, по крайней мере, проводника в этом темном лабиринте, имя которому – уездный город N.

– Идемте, Игнатий Фомич, – сказал он просто. – Показывайте вашу управу. И рассказывайте всё, что знаете про Олсуфьева и его людей. Только без водки. Голова должна быть ясной.

Хлобуев усмехнулся в усы.

– Без водки так без водки. Я, ваше благородие, могу и так. Это я больше для виду, чтобы не трогали. Чтобы думали: пьянь, мол, не опасен. А голова у меня, слава Богу, еще варит. Пошли.

И они зашагали дальше по пыльной улице, мимо куриц, гусей и заспанных мещан, мимо пожарной каланчи и голубого собора, к низкому желтому зданию полицейского управления, где в ящиках столов лежала засвеченная фотографическая пластинка, а в морге, на холодном мраморе, ждали своего часа два мертвеца – барин и слуга, связанные тайной сорокалетней давности.



Из прошлого Игнатия Фомича Хлобуева. Подробности, которые он не рассказал

То, что Хлобуев поведал Лыкову на улице, было лишь вершиной айсберга. Вся его предшествующая жизнь представляла собой историю, достойную пера романиста, но в России того времени такие истории случались на каждом шагу и никого не удивляли.

Игнатий Фомич Хлобуев родился в 1805 году в семье обер-офицера, дослужившегося до дворянства выслугой. Отец его, Фома Ильич, был человеком простым, из солдатских детей, и всю жизнь тянул лямку в армейской пехоте, пока под Лейпцигом не потерял руку и не получил

чин прапорщика при отставке. Мать, Акулина Саввишна, происходила из мещанского сословия и вечно стеснялась своего мужицкого выговора перед благородными соседями.

Детство Игнатия прошло в гарнизонных городках, среди казарм, плацев и солдатских песен. Он рано научился ездить верхом, стрелять из пистолета и фехтовать на эспадронах – всему тому, что должен был уметь сын офицера, но чего не могли дать ему родители из-за скудости средств. Учился он у отставного унтера, старого служаки, прошедшего Суворова, который вбивал в него грамоту и арифметику посредством тяжелой линейки и соленых солдатских шуток.

В 1822 году, семнадцати лет от роду, Игнатий поступил юнкером в пехотный полк. Служба пошла легко: он был силен, выносliв, храбр до отчаяния и, что удивительно для человека его происхождения, обладал природным умом и сметкой. Начальство его ценило, солдаты любили за справедливость и умение пошутить в трудную минуту.

В 1828 году началась война с турками. Хлобуев участвовал в осаде Варны, где получил первое ранение – пуля пробила ему плечо. Тогда же он впервые увидел, что война – это не только геройство и слава, но и грязь, воровство и предательство. Интенданты воровали провиант, солдаты умирали от голода и болезней, а начальство писало победные реляции в Петербург. Он пытался жаловаться, но его быстро осадили: молод еще, не лезь, куда не просят.

В 1830 году полк перебросили на Кавказ. Здесь началась настоящая жизнь. Бесконечные экспедиции против горцев, засады, стычки, переходы через перевалы, где каждый камень мог таить смерть. Хлобуев быстро стал одним из лучших разведчиков в полку. Он выучил несколько горских наречий, научился читать следы, понимать повадки противника. Его посылали в самые опасные рейды, и он всегда возвращался с языком или ценными сведениями.

Тогда же он подружился с поручиком Андреем Петровичем Дубровиным. Это была странная дружба: Дубровин – потомственный дворянин, богатый, образованный, с блестящими манерами; Хлобуев – простой армейский офицер, грубоватый, прямой, любящий выпить. Но на войне люди сближаются быстрее, чем в мирной жизни. Они вместе ходили в разведку, вместе спали под одной буркой, вместе делили последний сухарь. Дубровин несколько раз вытаскивал Хлобуева из переделок, однажды прикрыл своим телом от пули, и Хлобуев знал, что и он за ним не пропадет.

В 1839 году произошло то, что сломало Хлобуеву жизнь. В полку раскрыли крупную кражу: интенданты продавали горцам оружие и боеприпасы, получая за это золото и дорогие ковры. Дубровин случайно наткнулся на след этой торговли и начал собственное расследование. Он собрал улики, нашел свидетелей, подготовил рапорт в штаб корпуса. Но кто-то донес. За два дня до того, как Дубровин должен был отправить бумаги в Тифлис, его нашли мертвым. Сидел в своей палатке, в виске – пуля, в руке – пистолет. Все решили: застрелился от неразделенной любви или проигрыша в карты.

Хлобуев не поверил ни на минуту. Он знал, что Дубровин никогда не играл в карты и не страдал от несчастной любви – у него была невеста в Петербурге, с которой они переписывались. Хлобуев начал свое расследование. Нашел солдата, который видел в ту ночь возле палатки Дубровина двух офицеров из интендантства. Нашел следы борьбы. Написал рапорт.

Вместо благодарности его арестовали. Обвинили в пьянстве, клевете на начальство и попытке дискредитировать честных офицеров. Военно-полевой суд приговорил его к разжалованию в рядовые с лишением всех прав и преимуществ. Спас Георгиевский крест, полученный еще под Варной – по закону, награжденного нельзя было лишать дворянства иначе как по приговору общего суда, а не полевого. Его просто уволили из армии "по болезни" и отправили под надзор полиции в одну из отдаленных губерний.

Десять лет он мыкался по разным должностям. Был смотрителем почтовой станции, служил в земском суде, даже торговал лесом – прогорел. Везде его встречали косо, везде помнили, что он "неблагонадежный", что из армии выгнан, что правду ищет, где не надо. В конце концов,

благодаря старым сослуживцам, которые не забыли его доблести, его пристроили становым приставом в захолустный уезд. Место было такое, что никому не нужное, начальство далеко, можно жить тихо и незаметно.

Он и жил. Пил, толстел, опускался. Иногда, напившись до чертиков, вспоминал Кавказ, друга Андрея, горные тропы и свист пуль. Иногда думал: а не застрелиться ли и самому? Но что-то держало. Какая-то глупая надежда, что правда все-таки всплывет. Что он еще пригодится.

И вот теперь, через десять лет, в его уезд приехал столичный сыщик, который искал правду. Хлобуев почуял это сразу, как только увидел Лыкова. В тарантасе, когда тот молча смотрел в окно, Хлобуев изучал его и думал: "Этот не отступится. Этот дойдет до конца. Может, и мне пора?".

Утром, когда они встретились у гостиницы, Хлобуев принял решение. Он рассказал Лыкову часть правды. Не всю – не мог сразу открыться чужому человеку. Но достаточно, чтобы тот понял: он не враг. Он союзник.

И когда они вошли в полицейское управление, когда Лыков взял в руки пустую дагерротипную пластинку и внимательно осмотрел ее на свет, Хлобуев тихо сказал:

– Я знаю, кто мог ее засветить. И знаю, зачем.

Лыков поднял глаза.

– Говорите, Игнатий Фомич.

Хлобуев оглянулся на дверь, понизил голос до шепота:

– Вчера вечером, после того как я от вас ушел, я не к протодьякону пошел. Я к следователю захаживал. Дескать, познакомиться, выпить вместе. Он человек новый, из Петербурга присланный, года три как тут. Я к нему с лаской, с подношением. А он, знаете, что сделал? От водки отказался. Сказал, что делом занят. И на столе у него я видел эту пластинку. Она лежала под бумагами, но край торчал. И знаете, чем пахло в комнате?

– Чем? – спросил Лыков, чувствуя, как знакомый холодок пробегает по спине.

– Лаком. Свежим лаком. Тем самым, которым дагерротипы покрывают. А утром, когда я мимо проходил, зашел узнать, нет ли новостей. Он мне и говорит: пластинка, мол, пустая оказалась, природа химическая подвела. И лаком уже не пахло. А форточка была открыта.

Лыков смотрел на Хлобуева и видел перед собой не пьяницу, а старого разведчика, привыкшего замечать детали и делать выводы.

– Кто он, этот следователь? – спросил Лыков.

– Фамилия его Корсаков. Павел Иванович Корсаков. Из остзейских дворян, кажется. Молодой, лет тридцати, не больше. Говорят, в Петербурге проштрафился, вот и сослали к нам, в медвежий угол. Только… – Хлобуев замялся. – Только не похож он на проштрафившегося. Слишком уверен в себе. Слишком хорошо знает, что делает.

Лыков кивнул. Картина начинала проясняться. Кто-то в Петербурге, узнав о смерти Олсуфьева и найденном дагерротипе, прислал своего человека – якобы следователя, на самом деле – ликвидатора улик. И этот человек исправно сделал свою работу. Засветил пластинку. Уничтожил изображение. А теперь сидит в своем кабинете и ждет, когда столичный сыщик, не найдя ничего, уедет восвояси.

– Что будем делать, Алексей Петрович? – спросил Хлобуев, и в голосе его впервые за много лет появилась решимость.

Лыков посмотрел на пустую пластинку, потом на Хлобуева, потом в окно, где за пыльной площадью виднелось желтое здание суда, где сидел Корсаков.

– Будем искать правду, Игнатий Фомич, – ответил он. – Как вы когда-то на Кавказе искали. Только теперь враги не в горах, а в мундирах. И оружие у них не кинжалы, а бумаги и чины. Но это ничего. Я и таких брал.

Хлобуев усмехнулся в усы, и глаза его блеснули прежним, кавказским огнем.

– Ну, с богом, ваше благородие. Показывайте, с чего начнем.

– С морга, – сказал Лыков. – Хочу посмотреть на покойников. Иногда мертвые рассказывают больше, чем живые.

Глава 4. Осмотр.

Полицейский морг города N. размещался в каменном подвале земской больницы – сыром, пропахшем известкой и формалином помещении с единственным зарешеченным окном под самым потолком. Солнечный свет проникал сюда скупо, нехотя, и даже в полдень здесь царили сумерки, которые не могли разогнать две сальные свечи, воткнутые в железные подсвечники.



Смотритель морга, древний старик с трясущимися руками и мутными глазами, встретил их у входа, крестясь и кланяясь.

– Там они, ваши благородия, там. Лежат, голубчики. Барин-то ничего, спокойный, а холоп – страшный, злой даже мертвый. Глаза открыл и смотрит. Я уж платком накрыл, а то боязно.

Хлобуев, который в подвале сразу посерьезнел и перестал изображать пьяного, отодвинул старика плечом и первым шагнул внутрь. Лыков последовал за ним, стараясь не дышать глубоко – запах здесь стоял тяжелый, сладковато-тошный, какой бывает только там, где смерть задержалась надолго.

Тела лежали на двух деревянных столах, прикрытые грубым холстом. Хлобуев решительным движением сдернул покрывало с первого – с помещика Олсуфьева.

Дмитрий Гаврилович Олсуфьев был человеком лет сорока пяти, с правильными, даже красивыми чертами лица, которое смерть не успела еще обезобразить судорогой. Темные волосы, зачесанные на прямой пробор, высокий лоб, тонкий нос с горбинкой, плотно сжатые губы. На левом виске зияло аккуратное круглое отверстие – входное. Выходного не было видно: пуля застряла в черепе.

Лыков наклонился, внимательно осматривая рану. Достал из кармана лупу – предмет, который в то время редко кто носил с собой, но для Лыкова он был столь же необходим, как пистолет для военного.

– Что скажете, Алексей Петрович? – спросил Хлобуев, зажигая еще одну свечу и поднося ее поближе.

– Стреляли в упор, – негромко ответил Лыков. – Дуло пистолета касалось виска. Видите опалины? Пороховая гарь въелась в кожу. Это характерно для выстрела впритык. Если бы стреляли с расстояния, хотя бы в пол-аршина, след был бы иным – рассеянным, веером. А здесь – кружок. Чистая работа.

Он отстранился, окинул взглядом все тело.

– Руки. Посмотрите на руки.

Хлобуев послушно поднес свечу. Кисти Олсуфьева были аккуратно сложены на груди – так обычно укладывают покойников, но в момент смерти они, конечно, лежали иначе. Лыков осторожно взял правую руку, поднес к глазам.

– На указательном и среднем пальцах – следы пороха. Темные такие, въевшиеся. Это бывает, когда человек стреляет сам – пороховые газы прорываются между стволом и рукой. Но…

Он замолчал, внимательно разглядывая ладонь.

– Но что? – нетерпеливо спросил Хлобуев.

– Но на ладони – чисто. Если бы он держал пистолет, когда пуля вошла в висок, рука должна была сжаться. Мышцы сокращаются в момент смерти. А у него пальцы расслаблены. И еще…

Лыков перевернул руку и указал на ногти.

– Видите? Под ногтями – земля. Темная, жирная. Такая земля бывает только в парниках или в цветочных горшках. А Олсуфьев застрелился в кабинете. Откуда под ногтями земля?

Он отпустил руку и перешел к осмотру одежды. Олсуфьев был в том же сюртуке, в котором его нашли – темно-синем, тонкого сукна, сшитом у хорошего портного. Лыков провел пальцами по ткани, внимательно осматривая каждую складку.

– На коленях – пыль. Не та, что на полу в кабинете (я заходил туда вчера мельком, видел: там половики, чисто). Эта пыль – известковая, с кирпичной крошкой. Он стоял на коленях там, где есть кирпич и известь. Может быть, в подвале. Или во дворе, возле стены.

Он выпрямился и перевел взгляд на Хлобуева.

– Игнатий Фомич, вы когда-нибудь видели самоубийцу, который перед смертью становится на колени в пыль, пачкает руки землей, а потом приходит в кабинет, садится в кресло и стреляется? Я – нет.

Хлобуев крякнул, почесал затылок.

– Стало быть, не сам?

– Пока не знаю. Но похоже на то, что его привели в это состояние. Или принесли. Перейдем ко второму.

Хлобуев сдернул покрывало с камердинера Ермилы.

Зрелище было не для слабонервных. Ермила, мужик лет тридцати, коренастый, широкоплечий, лежал с открытыми глазами, которые действительно смотрели куда-то в потолок с выражением ужаса и ярости. Рот был приоткрыт, на груди – страшная рана.

– Ножом? – спросил Хлобуев.

– Не ножом, – ответил Лыков, склоняясь над телом. – Стилетом. Или кинжалом с тонким, трехгранным лезвием. Видите? Рана узкая, глубокая, края ровные. Нож оставляет разрез, а здесь – прокол. И удар нанесен с большой силой. Пробил грудную клетку, вошел в сердце. Смерть – мгновенная.

Он внимательно осмотрел края раны, затем перевел взгляд на руки Ермилы.

– А вот это интересно.

Правая рука камердинера была сжата в кулак, и в нее, по свидетельству полицейского протокола, была вложена дагерротипная пластинка. Сейчас пластинки не было – ее изъяли как вещдок, но пальцы так и остались скрюченными, сведенными посмертной судорогой.

– Посмотрите, Игнатий Фомич. На тыльной стороне ладони – ссадины. Свежие, с запекшейся кровью. Он оборонялся. Подставлял руку под удар. Значит, видел нападавшего, понимал, что его убивают.

Лыков осторожно разжал пальцы – пришлось приложить усилие, трупное окоченение еще не прошло полностью. Под ногтями Ермилы он обнаружил то, что искал: частички кожи, кровь, темные волокна.

– Под ногтями – чужая плоть. Он царапал убийцу. Царапал сильно, до крови. Где-то на теле преступника должны остаться следы. И еще…

Он достал из кармана чистый платок, аккуратно собрал то, что было под ногтями, завернул и спрятал.

– Волокна. Темно-синие. Такие же, как на мундире Корсакова? – тихо спросил Хлобуев.

– Или на вашем, Игнатий Фомич, – так же тихо ответил Лыков. – Не торопитесь с выводами. Нам нужны факты, а не догадки.

Он продолжил осмотр. На шее Ермилы, чуть ниже кадыка, обнаружились странные пятна – багровые, с синеватым отливом.

– Это не от удара, – пробормотал Лыков, наклоняясь с лупой. – Это пальцы. Его душили. Не сильно, не до смерти, но держали за горло. Видите отпечатки? Четыре пальца справа, большой слева. Рука у нападавшего крупная, сильная. И ногти – длинные, оставили следы.

Он выпрямился, отошел на шаг, окидывая взглядом оба тела.

– Картина начинает проясняться, – сказал он негромко, словно разговаривая сам с собой. – Олсуфьев за несколько часов до смерти был в пыльном, сыром месте. Стоял на коленях. Может быть, его там допрашивали? Может быть, он что-то искал? Потом его привели или принесли в кабинет. И там – выстрел. Но выстрел сделан не его рукой. Порох на пальцах есть, но это могло быть сделано и после смерти – приставили пистолет к руке, выстрелили, вложили оружие.

– А Ермила? – спросил Хлобуев.

– Ермила боролся. Он видел убийцу, защищался, царапался. Его ударили стилетом, когда он уже был схвачен за горло. А потом, уже мертвому, вложили в руку пластинку. Чтобы создать видимость, будто он ее украл, а барин его за это убил.

– Но зачем такая сложность?

– Чтобы скрыть главное. Чтобы отвести глаза от настоящего убийцы. И от настоящей причины.

Лыков подошел к изголовью стола, где лежал Ермила, и вдруг обратил внимание на его ступни. Камердинер был бос.

– Где его обувь? – резко спросил он.

Хлобуев развел руками.

– Не знаю. В протоколе не значится. Нашли босым, значит, босым и принесли.

– Босым? В усадьбе, в мае месяце? Холопы, конечно, могут и босиком ходить, но камердинер – это не полевая работница. Камердинер всегда при барине, всегда в доме, всегда обут. И потом…

Он нагнулся, рассматривая ступни.

– Подошвы чистые. Абсолютно чистые. Если бы он ходил босиком по земле, они были бы в пыли и грязи. А здесь – ни царапинки, ни соринки. Значит, его разули уже после смерти. Или перед смертью, но потом он не ходил, а лежал.

Он выпрямился, прошелся по подвалу, заложив руки за спину. Хлобуев молча ждал, понимая, что сейчас в голове сыщика складывается картина, недоступная простому глазу.

– Вот что мы имеем, – заговорил наконец Лыков. – Два убийства, замаскированных под самоубийство и несчастный случай. Убийца – человек сильный, умеющий обращаться с оружием, знающий, куда нанести удар, чтобы убить наверняка. Он был один или с помощником – не важно. Важно, что у него была цель: завладеть дагерротипом и уничтожить изображение. Но Ермила, умирая, сжал пластинку так, что вынуть ее сразу не смогли. Пришлось ждать, пока ослабнут мышцы, или вырезать? Нет, вырезать не стали – побоялись лишней крови, лишних следов. Просто ждали. И дождались – через несколько часов пластинку изъяли, и она тут же оказалась в руках Корсакова.

– А откуда Корсаков узнал, что она там? – спросил Хлобуев.

– А вот это самый интересный вопрос. Либо он сам был убийцей, либо ему сообщили те, кто убивал. В любом случае, он в деле. И пластинку он засветил не случайно, а намеренно. Чтобы никто никогда не узнал, кто изображен на портрете.

– И что теперь?

Лыков посмотрел на мертвецов, потом на Хлобуева.

– Теперь мы пойдем в усадьбу Олсуфьева. Осмотрим кабинет. Место, где он стоял на коленях. И найдем того, кто видел убийцу. Потому что в таком деле не может не быть свидетелей. Дворня всегда всё видит. Надо только уметь спросить.

Он накрыл тела холстиной и направился к выходу. Хлобуев задержался на секунду, перекрестился на мертвецов и пошел следом.

– Игнатий Фомич, – сказал Лыков, уже на лестнице, – вы говорили, что знаете людей здешних. Кто у Олсуфьева во дворе главный? Кто всем заправляет?

– Дворецкий, Пахомыч. Старик лет семидесяти, еще от отца Олсуфьева остался. Должен всё знать.

– Вот с него и начнем.

Они вышли из подвала на солнечный свет, и Лыков зажмурился – после подземной тьмы майское солнце казалось нестерпимо ярким. Но мысль его работала четко и холодно, как часовой механизм.

В кармане у него лежали крупицы кожи, крови и ткани, собранные под ногтями мертвеца. Где-то в городе ходил человек со свежими царапинами на лице или руках. А в усадьбе, в

кабинете покойного барина, ждала своего часа пыль на коленях – та самая, что могла рассказать, где именно стоял Олсуфьев перед смертью.

"Ничего, – подумал Лыков, садясь в пролетку, которую Хлобуев уже успел где-то раздобыть. – Мы найдем. Правда всегда оставляет следы. Надо только уметь их видеть".

Глава 5. Истории города N.

Пока пролетка с Лыковым и Хлобуевым громыхала по булыжной мостовой в сторону заставы, за которой начиналась дорога к усадьбе Олсуфьева, в городе N. просыпалась обычная жизнь, никак не связанная с убийствами и расследованиями.

На базарной площади торговки раскладывали товар: яйца, творог, зелень, вяленую рыбу, которая пахла так, что даже привычные ко всему горожане морщились. Мужик в рваном армяке торговал свистульками из глины – товар дешевый, но веселый, ребятишки вокруг него так и вились. Пьяный дьячок из собора, привалившись к забору, пытался поймать носом муху и громко икал, крестясь при каждом икоте. Бабы у колодца судачили о своем, бабьем, перемывая косточки соседям и приезжим.

Никто из них не знал и не мог знать, что в этот самый миг, на другом конце города, в маленьком домике на окраине, происходит событие, которое через несколько дней перевернет всё дело с ног на голову и заставит Лыкова пересмотреть все свои выводы.

Но об этом позже.

А пока – история, которая случилась за двадцать лет до описываемых событий, в 1830 году, и имела отношение к людям, чьи имена еще не раз прозвучат в этом повествовании.

История первая. О том, как поручик Дубровин нашел смерть в кавказских горах, а его убийца получил награду.

В 1830 году на Кавказе было неспокойно. Горцы делали набеги, русские войска ходили в экспедиции, аулы горели, кровь лилась рекой, и никому не было дела до того, что где-то в Петербурге чиновники пишут красивые реляции о распространении цивилизации среди диких горских племен.

В одном из полков, стоявших тогда в крепости Грозной, служил поручик Андрей Петрович Дубровин – тот самый, чья смерть сломала жизнь Игнатию Хлобуеву. Дубровин был человеком необычным для своего круга: он не играл в карты, не пил без меры, не волочился за женщинами. Зато он много читал, вел дневник и интересовался историей и этнографией Кавказа. Офицеры его недолюбливали – считали гордецом и выскочкой, но уважали за храбрость: в бою Дубровин был холоден и расчетлив, солдаты за ним шли в огонь и в воду.

В том же полку служил капитан Федор Иванович Корсаков – отец того самого Павла Ивановича Корсакова, который теперь сидел в следовательской комнате города N. и засвечивал дагерротипы. Капитан Корсаков был человеком совсем иного склада: ловкий, умелый, с прекрасными связями в Петербурге (его троюродный дядя служил в интендантстве и имел доступ к большим деньгам). Корсаков быстро делал карьеру, получал награды, но воевал как-то… странно. В самых опасных экспедициях его не видели, зато после каждой удачной операции он появлялся с рапортами и неизменно оказывался в числе отличившихся.

Дубровин и Корсаков терпеть друг друга не могли. Дубровин презирал Корсакова за трусость и казнокрадство, Корсаков ненавидел Дубровина за его неподкупность и острый язык. Но до поры до времени они держались друг от друга подальше – служба большая, места хватит всем.

В 1839 году, когда Хлобуев уже служил в том же полку, вскрылась история с интендантским воровством. Кто-то в Петербурге, вероятно, имевший виды на кавказские поставки, организовал целую сеть: оружие, предназначенное для русских солдат, продавалось горцам, а взамен шли золото, ковры, дорогое оружие. Дело было поставлено широко, с участием нескольких офицеров и гражданских чиновников.

Дубровин случайно наткнулся на след. Он захватил в плен горца, который оказался не простым джигитом, а торговцем, имевшим дела с русскими. На допросе горец назвал несколько имен. Среди них было и имя капитана Корсакова.

Дубровин не стал торопиться. Он понимал, что дело пахнет большим скандалом и что за Корсаковым стоят влиятельные люди. Он начал собирать доказательства осторожно, никому не доверяя, записывая каждую мелочь в свой дневник.

Но Корсаков узнал. Через своих людей, через осведомителей, через тех, кто следил за Дубровиным. И понял: если правда выйдет наружу, ему конец. Не просто разжалование – каторга, а то и петля.

Что произошло дальше, точно не знает никто. Официальная версия гласила: поручик Дубровин застрелился в припадке белой горячки, не выдержав тягот кавказской службы. Неофициальная, которую знал Хлобуев и еще несколько человек, была иной.

В ту ночь, когда убили Дубровина, в крепости была сильная гроза. Гром гремел так, что закладывало уши, молнии били в скалы, дождь лил стеной. В такую погоду даже часовые прятались под навесы, и никто ничего не видел и не слышал.

Утром Дубровина нашли в его палатке с простреленной головой. Рядом лежал пистолет. На столе – предсмертная записка, в которой он просил никого не винить и отдать его вещи матери в Петербург.

Хлобуев не поверил ни одному слову. Он знал, что Дубровин не носил с собой оружия в палатке – оно всегда было привязано к седлу, у входа. Он знал, что Дубровин писал левой рукой (был ранен в правую под Варной), а в записке почерк был праворукий, хоть и старательно искаженный. Он знал, что Дубровин в тот вечер был трезв и собирался наутро ехать в штаб дивизии с важным рапортом.

Он начал свое расследование. Нашел солдата, который видел, как поздно ночью, уже после отбоя, к палатке Дубровина подходили двое – один точно был Корсаков, второго солдат не разглядел. Нашел следы борьбы – сломанную трость, вырванный клок сукна от мундира. Нашел свидетеля, который слышал приглушенный крик и звук удара.

Но когда Хлобуев принес эти свидетельства начальству, его выслушали с каменными лицами, а через три дня арестовали самого. Обвинили в пьянстве, клевете, нарушении субординации. Судили полевым судом и вышвырнули из армии, лишив всего, кроме георгиевского креста.

А Корсаков? Корсаков получил повышение, орден и перевод в Петербург, в гвардию. Через несколько лет он вышел в отставку с чином полковника и поселился в своем имении, где и прожил до самой смерти, пользуясь всеобщим уважением и почетом.

Сын его, Павел Иванович Корсаков, пошел по стопам отца: учился в привилегированном учебном заведении, служил в министерстве, делал карьеру. Но что-то у него не сложилось – то ли характером не вышел, то ли отцовские грехи аукнулись. В 1847 году он был отправлен в город N. следователем – ссылка почетная, но все-таки ссылка. И здесь, в этом захолустье, он должен был сидеть тихо, не высовываться и ждать, когда в Петербурге о нем вспомнят.

Но судьба распорядилась иначе. Именно в его уезде случилось убийство, связанное с дагерротипом, на котором, по слухам, был изображен человек, имевший отношение к тем давним кавказским событиям. И Корсаков-младший понял: если правда выплывет, тень отца падет и на него. А значит, нужно сделать всё, чтобы правда никогда не выплыла.

История вторая. О том, как отставной майор нашел клад и потерял покой.

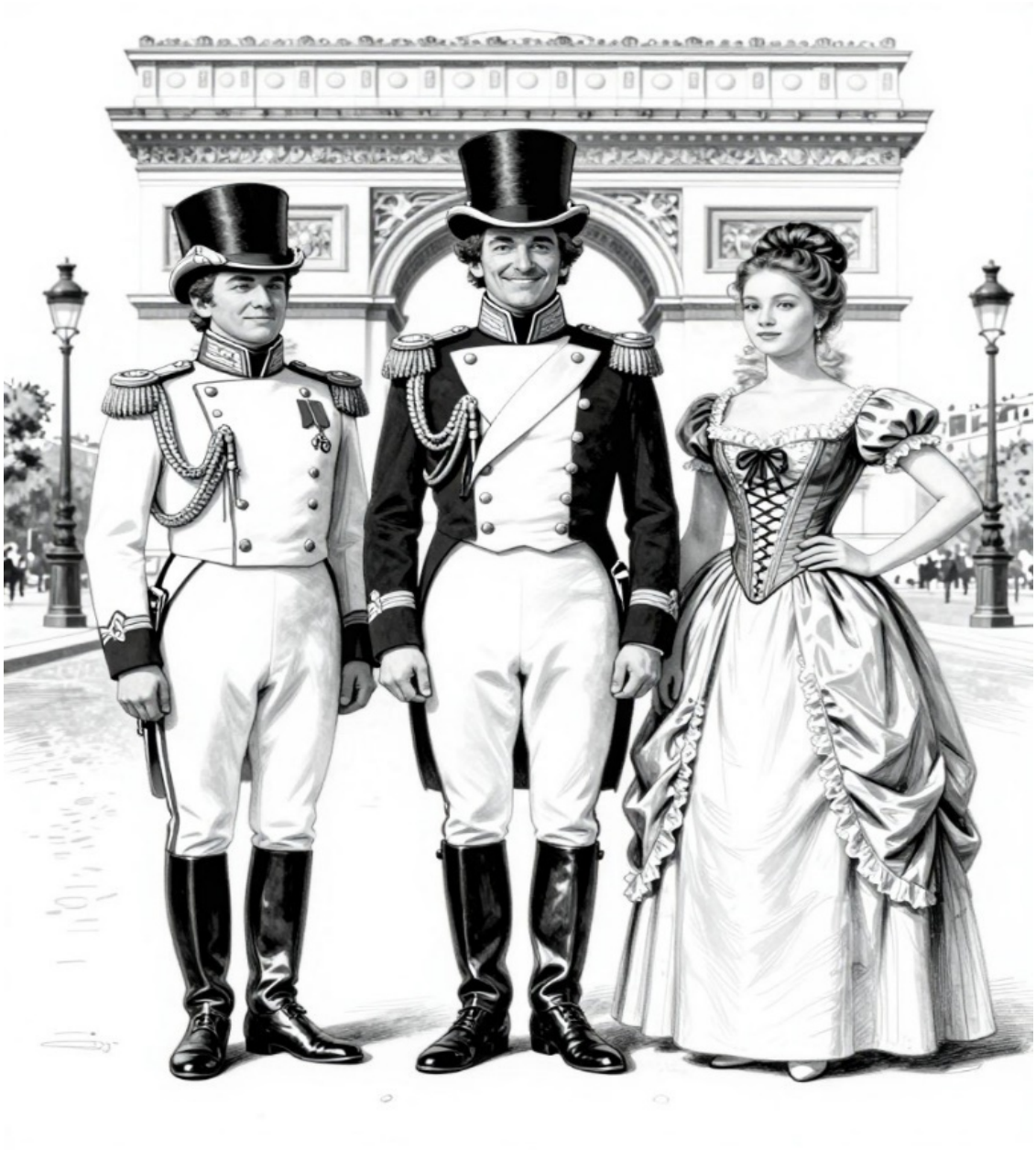
В то же самое время, когда Лыков осматривал трупы в морге, в другом конце города, в ветхом домике на окраине, сидел отставной майор Степан Ильич Бахметев, человек семидесяти двух лет от роду, и перебирал старые бумаги.

Бахметев был участником Отечественной войны 1812 года. В составе Московского ополчения он прошел от Бородина до Парижа, видел смерть, кровь, пожары, но уцелел чудом. После войны служил еще лет двадцать, вышел в отставку майором и поселился в городе N., где у него был маленький домик и пенсия в двести рублей в год.

Жил он тихо, ни с кем не знался, изредка принимал гостей – таких же стариков, как он сам, с которыми вспоминал былое. Но в последнее время что-то с ним сделалось. Стал беспокойным, суетливым, то и дело вынимал из сундука старый мундир, разглядывал его, гладил ладонью, вздыхал.

Дело было в том, что за неделю до убийства Олсуфьева Бахметев нашел в своем сарае старый сундук, принадлежавший когда-то его покойному брату, тоже участнику войны, умершему еще в тридцатых годах. В сундуке среди трухлявого тряпья и ржавых пуговиц лежала стопка писем и старая, выцветшая фотография – дагерротип, сделанный в 1815 году в Париже.

На фотографии были изображены трое: сам брат, еще молодой, в мундире Преображенского полка; какой-то штатский господин с умным, насмешливым лицом; и женщина в бальном платье, прекрасная, как ангел. На обороте чьей-то рукой было написано: "Париж, 1815. Мы трое. Больше не свидимся".



Бахметев долго разглядывал фотографию, пытаясь вспомнить, кто же этот штатский. Лицо казалось знакомым, но память, старая, дырявая, никак не хотела выдавать имя. И вдруг его осенило: это же князь Николай Алексеевич Щетинин, тот самый, что после войны уехал в свое имение и там… А что "там" – Бахметев не помнил. Значит, не важно.

Он положил фотографию на стол и забыл о ней. А через два дня пришли люди. Вежливые, в штатском, сказали, что собирают материалы об участниках войны для исторического сочинения. Попросили показать старые бумаги. Бахметев, человек доверчивый, показал.

Они долго перебирали письма, что-то записывали, а потом спросили:

– А нет ли у вас, господин майор, каких-нибудь портретов, рисунков, дагерротипов тех времен?

Бахметев, обрадованный вниманием, достал фотографию. Гости долго ее рассматривали, переглядывались, потом один из них сказал:

– Можно мы возьмем это на время? Скопируем и вернем. Очень важно для истории.

Бахметев согласился. Гости ушли и больше не вернулись.

Через день майор хватился – побежал в полицию, но там только руками развели: кто приходил, откуда, как звать – неизвестно. А фотография пропала.

И только старый Бахметев, сидя теперь у окна и глядя на пыльную улицу, смутно догадывался, что эта старая карточка была кому-то очень нужна. И что, возможно, из-за нее и случилось то страшное дело в усадьбе Олсуфьева, о котором весь город судачит.

Но он ошибался. Фотография, которую у него забрали, не имела прямого отношения к убийству. Или имела? В том-то и дело, что в детективных историях всё всегда связано, просто ниточки тянутся так далеко и так незаметно, что сразу и не разглядишь.

История третья. О том, как купеческая дочка читала романы и не знала, что ее ждет.

В том же городе N., в двухэтажном каменном доме на главной улице, жила купеческая дочка Настенька Перепелкина, семнадцати лет, румяная, белокурая, с голубыми глазами и необычайно романтическим складом характера.

Настенька зачитывалась французскими романами, которые выписывала из Москвы, и мечтала о большой любви, о тайнах, о приключениях. Ей было скучно в городе N., где все друг друга знают, где единственное развлечение – ярмарка да приезд театральной труппы раз в год.

Отец ее, купец первой гильдии Аким Петрович Перепелкин, человек суровый и богобоязненный, на дочкины романы смотрел косо и мечтал выдать ее замуж за солидного купеческого сына, чтобы приумножить капитал.

Но Настенька мечтала о другом. Ей снились офицеры в сверкающих мундирах, тайные свидания в саду, роковые страсти и благородные разбойники.

И надо же было случиться, что как раз в эти дни, когда Лыков вел расследование, в городе появился молодой человек, который сразу привлек внимание Настеньки. Он был высок, строен, бледен, одет в черный сюртук и носил темные очки, хотя на улице было солнечно. Он снимал комнату в доме напротив и целыми днями сидел у окна, глядя на улицу и что-то записывая в книжечку.

Настенька была уверена: это тайный агент, или беглый каторжник, или, может быть, сам граф Монте-Кристо, явившийся в их захолустный город вершить справедливость.

Она не знала, что молодой человек – всего лишь помощник аптекаря, приехавший из губернского города по делам, и что в книжечку он записывает не тайные знаки, а рецепты микстур и пилюль.

Но романтическим натурам факты не нужны. Им нужна сказка.

Эта история тоже, казалось бы, не имеет отношения к убийству Олсуфьева. Но именно Настенька, сама того не ведая, через три дня случайно увидит то, что станет ключом к разгадке. Потому что в маленьких городах все друг друга видят, и часто именно праздные наблюдатели – те самые, кто смотрит в окно от нечего делать, – оказываются самыми ценными свидетелями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.